

Нейл

НЕЙЛ УИЛЬЯМС

Уильямс

NIALL WILLIAMS

---

**FOUR LETTERS  
OF LOVE**

НЕЙЛ УИЛЬЯМС

ЧЕТЫРЕ ПИСЬМА  
О ЛЮБВИ



Москва  
2019

УДК 821.111-31  
ББК 84(4Вел)-44  
УЗ6

Niall Williams  
FOUR LETTERS OF LOVE

© Niall Williams, 1991  
First published 1997 by Picador an imprint of Pan Macmillan  
a division of Macmillan Publishers International Limited

Перевод с английского *Владимира Гришечкина*

Художественное оформление *Радия Фахрутдинова*

**Уильямс, Нейл.**

УЗ6 Четыре письма о любви / Нейл Уильямс ; [пер. с англ. В. А. Гришечкина]. — Москва : Эксмо, 2019. — 416 с.

ISBN 978-5-04-095154-3

Никласу Килану было двенадцать лет, когда его отец объявил, что получил божественный знак и должен стать художником. Но его картины мрачны, они не пользуются спросом, и семья оказывается в бедственном положении. С каждым днем отец Никласа все больше ощущает вину перед родными...

Исабель Гор — дочь поэта. У нее было замечательное детство, но оно закончилось в один миг, когда ее брат, талантливый музыкант, утратил враз здоровье и свой дар. Чувство вины не оставляет Исабель годами и даже толкает в объятия мужчины, которого она не любит.

Когда Никлас отправится на один из ирландских островов, чтобы отыскать последнюю сохранившуюся картину своего отца, судьба сведет его с Исабель. Они будут очарованы друг другом, и он напишет ей уйму писем, но, к сожалению, большинству из них суждено умереть в огне...

УДК 821.111-31  
ББК 84(4Вел)-44

© Гришечкин В., перевод на русский язык, 2019

© Издание на русском языке, оформление.  
ООО «Издательство «Эксмо», 2019

ISBN 978-5-04-095154-3

*МОЕЙ МАТЕРИ,  
затерявшейся среди звезд*



Так посылай же письмо, умоляющей полное лести, —  
Первой разведкой души трудный нащупывай путь...  
Овидий, «Наука любви»<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Пер. М. Л. Гаспарова. (Здесь и далее — прим. переводчика.)





## Ч А С Т Ь   П Е Р В А Я

### 1. 1.

Бог впервые заговорил с моим отцом, когда мне было двенадцать.

Бог был немногословен. В тот первый раз Он ограничился тем, что велел папе заняться живописью, после чего снова вознесся на свой окруженный ангелами престол, чтобы, глядя на мокрый серый город сквозь прорехи в дождевых облаках, гадать, что же будет дальше.

В то время мой отец еще работал на гражданской службе. Он был высоким, жилистым и невероятно худым. Казалось, что кости, туго натягивавшие его кожу, вот-вот проткнут ее изнутри. Волосы у него начали сесть, когда ему было всего двадцать четыре, из-за чего он выглядел намного старше своих лет. С годами папа и вовсе стал похож на сурового старика-аскета — он даже не мог пройти по улице, чтобы не привлечь к себе чьего-нибудь внимания. Прохожие оборачивались. Отпечаток чего-то необычного, лежавший на всей его фигуре, подчеркивали молодые ярко-синие глаза и крайняя молчаливость. Несмотря на то что в семье я был единственным ребенком, он почти никогда ничего мне не говорил — за первые двенадцать лет моей жизни я в состоянии припомнить

всего несколько случаев, когда папа обращался непосредственно ко мне. Да и то, что он говорил, почти совершенно изгладилось из моей памяти, поэтому вместо слов мои детские воспоминания состоят почти исключительно из картин и образов, похожих на моментальные снимки. Вот туманным ноябрьским вечером папа приходит с работы. Он в сером костюме. Папа входит в дверь, и я слышу, как на столик с телефоном, который стоит в нашей прихожей, шлепается его портфель. Потом до меня доносится скрип ступенек и шаги над кухней — это он надевает вязаную кофту и спускается к чаю. Вот в ответ на какой-то мамин вопрос его высокий, похожий на меловой утес лоб слегка приподнимается над верхним обрезом газеты, которую он читает. А вот новогоднее купание в замерзающем море у побережья Грейстоуна. Я держу полотенце, а папа — болезненно-худой, с выпирающими ребрами и торчащими ключицами, похожими на перепутавшиеся «плечики» в мешке для одежды, — медленно идет к воде. На камнях пальцы его ног загигают вверх, а в каждой руке он как будто держит по невидимому чемодану. Чайки не отлетают в сторону при его приближении — должно быть, потому, что на фоне серо-голубого моря прозрачная бледность его обнаженного тела схожа с оттенком ветра. Он тонок и прозрачен, как воздух, и кажется, что первая же высокая волна, налетев на его погружающиеся все глубже чресла, переломит его пополам, словно сухую облатку. Каждый раз я думаю, что море вот-вот подхватит папу и унесет, но этого не происходит. Окунувшись, он выходит обратно на берег и берет у меня полотенце, но не вытирается, а просто некоторое время стоит неподвижно. Я одет в куртку с надвинутым капюшоном, «молния» застегнута до самого верха, но я все равно ощущаю резкий,

пронизывающий ветер, который леденит его кожу. Но папа продолжает стоять, глядя на свинцово-серый залив, и не торопится одеваться, чтобы вступить в Новый год. Он еще не знает, что Бог вот-вот заговорит с ним.

Папа рисовал всегда. Часто летними вечерами, скосив траву на лужайке, он садился в уголке сада с альбомом и карандашами, то нанося на бумагу линию за линией, то что-то стирая, пока свет уходящего дня медленно мерк, а мальчишки в конце улицы гоняли старый мяч. Прежде чем забраться под одеяло, я, восьмилетний мальчуган со слабым зрением и россыпью веснушек на лице, частенько смотрел на него из окна своей комнаты на втором этаже, и в этой угловатой, неподвижной фигуре мне мерещилось что-то столь же спокойное, доброе и чистое, какой была для меня молитва на сон грядущий. Бывало, мама приносила папе чай. Она восхищалась его талантом, и хотя папины рисунки никогда не висели на стенах нашего маленького дома, многие из них нередко дарились родственникам или просто соседям. Не раз я слышал похвалы в его адрес и испытывал прилив мальчишеской гордости каждый раз, когда замечал в уголке рисунка маленькие У. и К. — его подпись. Часто, возя по ковру свой игрушечный поезд, я с восторгом думал о том, что ни у кого больше нет такого папы, как у меня.

Но когда мне исполнилось двенадцать, мир вокруг изменился. Как-то вечером папа пришел с работы и, сидя за чаем в своей измятой домашней кофте, смиренно слушал рассказ мамы о том, что она весь день ждала мастера, который починил бы прохудившуюся крышу в кладовке рядом с кухней, что я опять порвал в школе брюки и что миссис Фицджеральд звонила и предупредила, что не

сможет прийти в четверг на партию в бридж. Папа сидел неподвижно и слушал молча. Горел ли уже тогда в его глазах новый огонь? За прошедшие годы я много раз твердил себе, что да, горел и что я его видел. В самом деле, не могло же все быть так просто и так обыденно, как это вспоминается мне сейчас: вот папа выпил вторую чашку чая с молоком, вот он доел фруктовый пирог и сказал:

— Бетти, я буду рисовать.

Сначала мама, конечно, его не поняла. Она подумала — он будет рисовать сегодня вечером, поэтому ответила: «Прекрасно, Уильям», — и добавила, что сама уберет со стола, а он пусть переоденется и приготовит все необходимое.

— Нет, — ответил папа тихо, но твердо, как говорил всегда, отчего его слова казались больше, весомее, чем он сам. Можно было подумать, что их значимость напрямую связана с его видимой хрупкостью и худобой, словно он сам был одним сплошным мозгом. — Нет, — повторил он. — Я больше не буду ходить в офис. С этим покончено.

Миниатюрная, подвижная, с быстрыми карими глазами мама к этому моменту уже поднялась и повязывала фартук, собираясь мыть посуду. На мгновение она замерла и поглядела на него, словно стараясь лучше понять сказанное, но уже через секунду сорвалась с места и со скоростью молнии пересекла кухню. Схватив меня за плечо — пожалуй, чересчур сильно, хотя она, конечно, не хотела причинить мне боль, — мама вытащила меня из-за стола и велела идти готовить уроки. Переполненный ее не нашедшей выхода яростью, я послушно вышел в прохладную полутьму прихожей и поднялся по лестнице ступенек на шесть, чувствуя, как приливает к плечу кровь и как заранее болит будущий синяк —

первый след вторжения Бога в нашу жизнь. Ощупывая прореху на коленке школьных брюк, я снова и снова соединял и разглаживал обтрепанные края, словно надеясь восстановить целостность ткани. Наконец я оставил это бесполезное занятие и, опустившись на ступеньку, подпер голову кулаками и стал прислушиваться к тому, как катится к концу последний день моего детства.

## 2.2.

— Я буду заниматься только живописью, — услышал я голос отца.

Потом наступила долгая пауза — потрясенное молчание, тишина после неожиданного удара. Со своего места на ступеньках я видел в приоткрытую дверь ошеломленное лицо матери, ее мечущиеся в панике глаза. Казалось, вся ее энергия внезапно оказалась заперта в тесном пространстве, завязана узлом, пока..

— Ты шутишь, Уильям. Скажи, что ты шутишь! Не может быть, чтобы ты на самом деле решил..

— Я буду продавать картины. И я уже продал нашу машину.

Последовала еще одна пауза, короткая тишина, словно в ружье вкладывали патрон.

— Когда?.. Зачем?.. Как ты мог просто взять и.. Нет, ты все-таки шутишь!

— Я говорю совершенно серьезно, Бетти.

— Я тебе не верю. Как ты..

Мама снова замолчала. Быть может, она даже присела — мне уже не было ее видно. Когда мама снова за-

говорила, ее голос звучал резко и хрипло, словно у нее в горле застряло битое стекло. Или слезы.

— Господи, Уильям... Так не бывает! Я хочу сказать, обычно люди не заявляют ни с того ни с сего — я, мол, больше не буду ходить на работу... Ну скажи же — ты вовсе не это имел в виду!

Папа ничего не ответил. Он изо всех сил удерживал слова в своей узкой худой груди и только низко склонил голову, подперев лоб ладонью. Мамин голос тем временем звучал все громче, все пронзительнее:

— А меня ты не спросил? Я, кажется, тоже имею право голоса!.. Кроме того, у нас есть сын — ты о нем подумал? Не можешь же ты просто взять и...

— Я должен. — Папа поднял голову. Эти его слова обрушились на нашу жизнь как смерть ребенка, о которой никогда не говорят прямо. А еще через мгновение он добавил так тихо, что впоследствии, когда, прочтя вечерние молитвы, я лежал в полутьме спальни и смотрел на залитые бледным золотом ночных фонарей занавески, мне пришлось долго убеждать себя в том, что эти слова мне не слышались:

— Я должен, Бетти. Так велел мне Бог.

## 3.3.

В последующие несколько дней у нас в доме все было вверх дном. Бог переехал к нам буквально в одну ночь. В гараже была свалена вынесенная из гостиной мебель, подъемные жалюзи были сняты, чтобы пропускать внутрь больше света, с по-

лов исчезли ковры, а в углу, где раньше помещался телевизор, появился монументальный обеденный стол, опиравшийся на бетонные блоки. Отсоединенный телефон целый месяц стоял в прихожей на полу. Мама слегла; теперь она почти все время проводила в кровати в своей комнате. Папа ничего мне не объяснял, и я носил ей наверх приготовленные им подгорелые ломтики бекона и тарелки с яичницей, которые казались мне чем-то вроде зашифрованных депеш, передаваемых в осажденную крепость по подъемному мосту. Потом приехал мебельный фургон, и гараж опустел. Во время погрузки соседские мальчишки стояли у калитки и смотрели, как уезжает в безвестность наша прошлая жизнь. «У вас нет телика! — дразнил меня какой-то мальчишка. — У Кўланов нет телика!» «Он нам не нужен!» — кричал я, стоя в импровизированных воротах из двух брошенных на траву свитеров, и, подняв растопыренные ладони на уровень лица, щурился на стремительно пролетающие мимо меня мячи.

Настало лето. Мама встала с постели, а папа отправился в первое из своих путешествий, которые он впоследствии совершал летом или весной, словно растворяясь в просторах своих пока еще чистых холстов и оставляя нас посреди живописной, но начинавшей слегка подгнивать помойки, в которую превратился наш дом за четыре недели, прошедшие со дня божественного посещения.

«Твой отец, художник, бросил нас одних, — частенько говорила мне мама и добавляла с мрачной иронией: — Наверное, одному Богу известно, когда